

Хор

Не шуметь, певцы, умолкни,
Соловей рассыпья, щелкни!³⁵

В «Истории русской музыки» был напечатан по рукописи Аксакова из этой песни только первый куплет Бояна с хором (см. прим. 32).

Опера «Вадим, или Пробуждение двенадцати спящих дев» была создана по *мотивам* произведения Жуковского. Изначально главным в замысле Верстовского была так называемая «русская характеристика» оперы, и эта сторона замысла не вызывала возражений со стороны Шевырева. Его трактовка сюжета «Вадима» была ультраромантической, и он, усложняя его, вводил в действие сложную психологическую мотивацию и яркие сценические эффекты. Пародирование Шевыревым в письмах к Погдину сюжета Жуковского имело «прикладное» значение, поскольку позволяло ему настаивать на правомерности своей трансформации сюжета.

Утонувшие в сладострастии «двенадцать дев» Пушкина, пустившиеся во все тяжкие по наущению Асмодея герои Проташинского, изнемогающие под гнетом своей участи одиннадцать дев из письма Воейковой, наконец, решительно порвавший со своим поэтическим прототипом Вадим в либретто Шевырева для «русской оперы» — все это были изводы восприятия одного произведения Жуковского, соотносимые как с различными жанровыми поисками, так и с общим восприятием сюжета, возвращаемого современниками из «облачного мира» на «грешную землю».

³⁵ РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 4. № 166. Л. 17–17 об.

DOI: 10.31860/0131-6095-2023-1-119-134

© М. Д. Кузьмина

ДРУЖЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА И. В. КИРЕЕВСКОГО 1820–1830-Х ГОДОВ В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ*

Русская культура первой трети XIX века ознаменована расцветом эпистолярного жанра, когда он стал «литературным фактом»,¹ по известному определению Ю. Н. Тынянова. «Официально» не входящее в состав литературы, а лишь соприкасающееся с ней и потому не регламентированное ею, дававшее «неограниченную свободу как жанрового, так и стилистического разнообразия»,² письмо предоставляло литераторам уникальную возможность апробировать новые творческие принципы, отработать стиль. Е. Е. Дмитриева обратила внимание на близость эпистолярного и лирики — стихотворных посланий — А. С. Пушкина 1820-х годов, охарактеризовав это жанровое взаимодействие как «постоянный и своеобразный диалог».³ Г. О. Винокур подробно проследил связь между перепиской и художественной прозой Пушкина.⁴ Любопытно, что В. Л. Пушкин и Н. И. Греч некогда даже приняли личное письмо юного поэта

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 20-68-46021, «Славянофильство в религиозно-философском диалоге: 1836–1917».

¹ Тынянов Ю. Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 265.

² Степанов Н. Л. Письма Пушкина как литературный жанр // Степанов Н. Л. Поэты и прозаики. М., 1966. С. 94.

³ Дмитриева Е. Е. Эпистолярный жанр в творчестве А. С. Пушкина. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1986. С. 13.

⁴ Винокур Г. О. Пушкин-прозаик // Винокур Г. О. О языке художественной литературы / Сост. и прим. Т. Г. Винокур; предисловие В. П. Григорьева. 2-е изд. М., 2006. С. 187–193.

лицеиста к дяде (от 28 (?) декабря 1816 года) за художественное произведение, вследствие чего оно попало в печать, к величайшему неудовольствию автора.⁵ Эпистолярные тексты, подобно художественным, создавались в несколько этапов (сначала на черновиках, затем редактировались и переписывались набело⁶) и хранились участниками переписки, видевшими перспективу их публикации (так, известно бережное отношение к ним Пушкина). Характерно и суждение П. А. Вяземского: «Надеюсь, что мое письмо мило, умно и забавно. Прошу беречь его: оно тоже смотрит в бессмертие, и если через сто лет не дадут за него Павлуше (сыну. — М. К.) тысячи рублей, то дам себя высечь на том свете, не в счет сечения, которое придется мне и без того»,⁷ — а также слова Пушкина о дружеской переписке: «На днях пересмотрел я у себя письма Дельвига; может быть, со временем это напечатается. Нет ли у ней (вдовы Дельвига. — М. К.) моих к нему писем? мы бы их соединили».⁸ С конца XVIII века — под влиянием художественных открытий сентиментализма — возникает все больше произведений в эпистолярной форме и экспериментов с ней. «Здесь, в письмах, — отмечал Ю. Н. Тынянов, — были найдены самые податливые, самые легкие и нужные явления, выдвигавшие новые принципы <...> с необычайной силой: недоговоренность, фрагментарность, намеки, „домашняя“ малая форма <...>. Этот нужный материал стоял вне литературы, в быту. И из бытового документа письмо поднимается в самый центр литературы».⁹ Из всех инвариантов эпистолярного жанра ученик Ю. Н. Тынянова Н. Л. Степанов справедливо выделяет дружеское письмо, посвящая ему отдельное исследование и подчеркивая его особую значимость в литературном процессе первой трети XIX века.

Архиважная роль дружеского письма, думается, была обусловлена несколькими причинами. В числе важнейших — конечно же, культ дружбы, подпитываемый культурой сентиментализма и романтизма (о чем вдохновенно, вполне в духе той эпохи, как бы напитавшись ее атмосферой, писал У. М. Тодд: дружба «стала одной из тем русской литературы», «дала свое имя двум из наиболее популярных жанров эпохи — дружескому письму и дружескому стихотворному посланию», «захватила русскую мысль и литературу»¹⁰), равно как и культурой кружкового общения. Знаменуя новую эпоху, в 1801 году в Москве учреждается «Дружеское литературное общество». Все множество последующих обществ — от «Общества любителей российской словесности» и «Аразамаса» до «Общества любителей мудрости», кружков Н. В. Станкевича и А. И. Герцена — зиждилось на культе дружбы. Дружеская переписка давала максимальную свободу самовыражения, позволяла общаться, с одной стороны, tête-à-tête и очень лично с каждым корреспондентом, а с другой — целым сообществом; помогала совместными усилиями — в эпистолярном диалоге — и потому наиболее решительно, быстро, смело совершать важные для русской культуры и литературы открытия.

Развитие дружеского письма на протяжении четырех десятилетий — 1800–1830-х годов — шло стремительно. В 1800-х — начале 1810-х годов еще тесно связанное с сентиментальной традицией второй половины XVIII века и потому преимущественно

⁵ См. подробнее: Кошелев А. В. Письма А. С. Пушкина. Проблемы текстологии. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2002. С. 4.

⁶ См. подробнее, например: Винокур Г. О. Пушкин-прозаик. С. 186–187; Казанский Б. Письма Пушкина // Литературный критик. 1937. № 2. С. 90, 98–99; Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 264–293; Модзалевский Л. Б. Эпистолярное наследие Пушкина // Вестник АН СССР. 1937. № 2–3. С. 231.

⁷ Вяземский П. А. Письма к жене за 1830 год / Предисловие и комм. М. С. Боровковой-Майковой // Звенья. 1936. Вып. 6. С. 253 (письмо от 21 мая 1830 года).

⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. М.; Л., 1941. Т. 14. С. 193–194 (письмо к М. Л. Яковлеву от 19 июля 1831 года).

⁹ Тынянов Ю. Н. Литературный факт. С. 265. См. также: Левкович Я. Л. Письма // Пушкин. Итоги и проблемы изучения / Под ред. Б. П. Гродецкого, Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха. М.; Л., 1966. С. 531–532; Паперно И. А. Об изучении поэтики письма // Studia metrica et poetica. [Вып.] 2. Тарту, 1977. С. 105–111 (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 420).

¹⁰ Тодд III У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху / Пер. с англ. И. Ю. Куберского. СПб., 1994. С. 38–39.

чувствительное, доверительно-исповедальное (показателен, например, эпистолярный М. Н. Муравьева, молодых В. А. Жуковского и братьев Александра и Андрея Тургеневых), уже с середины 1810-х годов оно кардинально меняется, и, что характерно, в том числе под пером тех же авторов. Муравьев и Андрей Тургенев до этого времени не дожили, но и в письмах последнего к Жуковскому, дружески-исповедальных, созданных на рубеже XVIII–XIX веков, — налицо ростки подобных изменений.¹¹ В эпистолярной же самого Жуковского и Александра Тургенева, также Пушкина, Вяземского, как и многих других их современников, во второй половине 1810-х — 1830-е годы они в полной мере были осуществлены.

Исследователи единодушно и совершенно справедливо связывают эту эволюцию с деятельностью «Арзамаса», членами которого являлись упомянутые литераторы. Вместе с тем важно иметь в виду, что, по их собственному свидетельству, участие в «Арзамасе» было не причиной, а следствием. Вяземский писал: «Мы уже были арзамасцами между собою, когда Арзамаса еще и не было. Арзамасское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства».¹² Но благодаря этому, пусть и внешнему, сплочению началось их очень активное творческое взаимообогащение. Вяземский же вспоминал об «Арзамасе»: «...это была школа взаимного литературного обучения, литературского мастерства».¹³ С организацией общества наступила, по характеристике Л. Я. Гинзбург, «пора арзамасской буффонады», сложился «арзамасский стиль»¹⁴ — с такими его чертами, как «галиматья», пародия, изобилие шуток, — определивший характер переписки. В результате стало наблюдаться «парадоксальное соотношение: в дружеском письме, казалось бы, самом интимном роде словесности <...>, интимность оказывается запрещенной».¹⁵ Так, Пушкин тщательно «маскирует личный сердечный опыт», «шутит над поэтическим делом своим и своих друзей», трагически даже тему смерти, причем в то время, когда она была болезненно остра, — в начале 1830-х годов, в эпидемию холеры. Важнейшей стилистической категорией писем Пушкина, как и других арзамасцев, Л. Я. Гинзбург справедливо считает «*эффемизмы высокого*».¹⁶ Эту ярко выраженную установку на «грубую простоту», принципиальный отказ от манерности Ю. Н. Тынянов в свое время рассматривал как чрезвычайно перспективную для эпистолярного жанра и резонно видел в ней проявление особой — неисповедальной — «интимности»: «Это не была безразличная простота документа, извещения, расписки — это была вновь найденная литературная простота. В жанре по-прежнему подчеркивалась его внелитературность, интимность; но она подчеркивалась нарочитой грубостью, интимным сквернословием, грубой эротикой. Вместе с тем писатели осознают этот жанр глубоко литературным».¹⁷ При ведущем влиянии «арзамасского стиля» не только в 1830-е, но и в 1820-е годы имело место частичное отступление от него, усложнение поэтики письма. Так, Л. И. Вольперт обнаружила эти особенности в переписке Пушкина Михайловского периода, объяснив их, с одной стороны, «участием женщин в эпистолярной игре»,¹⁸ а с другой — ситуацией ссылки.

Усилиями Ю. Н. Тынянова, Н. Л. Степанова, Л. Я. Гинзбург, Е. А. Маймина, И. А. Паперно, Л. И. Вольперт и еще целого ряда ученых эпистолярный арзамасцев, литераторов из пушкинского окружения, в особенности же самого Пушкина, ключевой

¹¹ См.: Письма Андрея Тургенева к Жуковскому / Публ. В. Э. Вацура, М. В. Виролайнен // Жуковский и русская культура: Сб. науч. тр. Л., 1987. С. 350–431.

¹² Вяземский П. А. По поводу бумаг В. С. Жуковского (Два письма к издателю «Русского архива») // Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1882. Т. 7. С. 411.

¹³ Там же. Т. 8. Старая записная книжка. С. 416.

¹⁴ Гинзбург Л. Я. «Застенчивость чувства». По поводу писем людей пушкинского круга // Красная книга культуры? = Red Book of Culture? / Изд. подг. В. Рабинович. М., 1989. С. 185.

¹⁵ Там же. С. 187.

¹⁶ Там же. С. 186–188. См. также: Гинзбург Л. Я. Эффемизмы высокого (По поводу писем людей пушкинского круга) // Вопросы литературы. 1987. № 5. С. 199–208.

¹⁷ Тынянов Ю. Н. Литературный факт. С. 266.

¹⁸ Вольперт Л. И. Дружеская переписка Пушкина михайловского периода (сентябрь 1824 г. — декабрь 1825 г.) // Пушкинский сборник: Сб. науч. тр. Л., 1977. С. 51.

фигуры эпохи, достаточно подробно исследован. Между тем важно поставить вопрос, до сих пор совсем не поднимавшийся, о том, какое — схожее или иное — направление имело развитие эпистолярного жанра под пером их современников, тоже игравших роль в истории отечественной словесности.

В первую очередь заслуживает внимания будущий славянофил И. В. Киреевский, сын хозяйки известного литературного салона А. П. Елагиной, родственник и друг В. А. Жуковского, органично включенный в культурную жизнь пушкинской эпохи. С начала 1820-х годов он живет в Москве.¹⁹ Входит в так называемый кружок «архивных юношей» (выражение С. А. Соболевского, тоже члена кружка), сложившийся в Московском архиве государственной коллегии иностранных дел, где Киреевский служит с 1824 года, и объединивший блистательную, литературно одаренную молодежь (помимо Киреевского и Соболевского, его членами были братья Д. В. и А. В. Веневитиновы, А. И. Кошелев, кн. В. Ф. Одоевский, В. П. Титов, С. П. Шевырев). Кроме того, будущий славянофил состоит в литературном кружке С. Е. Раича (наряду с Одоевским, Титовым, Шевыревым, Ф. И. Тютчевым, М. П. Погодиным, А. Н. Муравьевым и др.) и в «Обществе любомудрия» (наряду с Одоевским, Кошелевым, Титовым, Шевыревым, Д. В. Веневитиновым, Н. А. Мельгуновым, Н. М. Рожалиным).

В числе друзей Киреевского в 1820–1830-е годы многие участники этих кружков, а также не входившие в них талантливые деятели своего времени, в частности самореализовавшиеся в сферах культуры и литературы: Одоевский, Е. А. Баратынский, Н. М. Языков, Алексей Веневитинов (брат поэта Дмитрия Веневитинова), Кошелев, Титов, Шевырев, Рожалин, близкий друг Пушкина Соболевский и пр.; будущий славянофил дружески общался и с Вяземским и Пушкиным.

В то же время молодой Киреевский с благословения и при поддержке Жуковского, замечаящего у него писательский талант, дебютирует на литературном поприще: пишет и публикует литературно-критические работы и художественные произведения; в 1832 году при участии Жуковского, Баратынского, Языкова, Пушкина, Одоевского, А. С. Хомякова выпускает журнал «Европеец», запрещенный после выхода первых двух номеров. Несмотря на несомненную одаренность, литературно-критическое и в особенности художественное наследие молодого Киреевского не столь обширно. Снискавший в своем дружеском кругу репутацию ленивца, он по большей части лишь готовился к настоящей деятельности. Мечтая, писал своему ближайшему другу Кошелеву: «Я могу быть литератором, — а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние <...> целую жизнь имея целью: образовываться, могу ли я не иметь веса в литературе? Я буду иметь его и дам литературе свое направление».²⁰ Позже ему же с сокрушением признавался, что так еще ни к чему не приступил: «...мои занятия состояли в ничего неделаньи. Прожектов много, но лени еще больше. <...> мои прожекты об Жуковском, об критике, об философии в России — до сих пор еще прожекты» (с. 219).

Не удивительно, что талант Киреевского в наибольшей степени реализовался в письмах, среди которых выделяются дружеские. Проявляя неусердие и в эпистолярном общении, он вынужден был их писать, побуждаемый к этому друзьями. Вторя один другому, они взывают к нему — то шутя («...от вашей лени нет ни словечка...»);²¹

¹⁹ Большинство исследователей годом переезда семьи Елагиных-Киреевских в Москву называют 1822 год. Н. П. Колопанов же — вероятно опирающийся на какие-то недоступные нам сейчас материалы — приводит другую, точную дату: 14 июля 1821 года (*Колопанов Н. П.* Биография Александра Ивановича Кошелева: В 2 т. М., 1889. Т. 1. Кн. 2. С. 12). Этот вопрос рассматривает Е. В. Лудилова: *Письма А. И. Кошелева И. В. Киреевскому (1822–1828)* / Публ. Е. В. Лудиловой // *Русская литература*. 2005. № 1. С. 97.

²⁰ *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. СПб., 2018. Т. 1. С. 342 (письмо от 18 июля 1827 года); ср.: Там же. С. 202–203 (письмо к А. С. Пушкину от марта–апреля 1832 года (?)). Далее ссылки на этот том данного издания приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера страницы.

²¹ *П. Б.* [Бартенева П. И.]. Письма С. А. Соболевского // *Русский архив*. 1906. Вып. 12. С. 563 (письмо к И. В. Киреевскому от 25 (13) декабря 1829 года).

«Если ты не боишься парализации в руках при малейшем прикосновении оных до пера, то напиши мне...»;²² «Если тебе не слишком тягостно держать перо между большим, указательным и средним пальцами, то напиши мне ради чего-нибудь...»²³), то, чаще, серьезно, с разным отношением в диапазоне от удивления, тревоги, неудовольствия до заботы о нем, попечения и о самой дружбе: «Неужели, любезный Киреевский, положено между нами писать друг другу раз в три месяца. <...>. Ни слова от тебя в ответ»;²⁴ «Что ты замолк, любезный друг Киреевский? Более месяца ни я, ни Кошелев не получаем от тебя ни строчки. Зачем не напишешь в двух словах хотя о том, что ты и все твои здоровы физически? В нравственном твоём здоровье я начинаю сомневаться, ибо вижу, что благословенная лень не перестает быть твою богиней»;²⁵ «Что ты молчишь, милый Киреевский? Твое молчание меня беспокоит. Я слишком тебя знаю, чтобы приписать его охлаждению; не имею права приписать его и лени. Здоров ли ты и здоровы ли все твои? Право, не знаю, что думать»;²⁶ и др. Если Кошелев строго-требовательно призывает друга к ответу, в подобном духе обращается к Киреевскому и Одоевский, то Баратынский скорее переживает за него, а Соболевский по большей части шутит. В каждом случае сказывались индивидуальные особенности коммуникантов и особенности их межличностных отношений. Очень деятельные, Кошелев и Одоевский не понимают и не приемлют лени. Соболевский же, повеса и весельчак, не склонен высоким языком говорить о долге. Относящийся к другу с трепетной теплотой Баратынский вовсе не позволяет себе заподозрить в нем низменные качества и вершить над ним суд. Веневитинов испробует разные способы увещания Киреевского в надежде, не подействует ли тот или другой. Характерна его приписка к облеченной в шутливую форму просьбе: «Если тебе не слишком тягостно держать перо между большим, указательным и средним пальцами, то напиши мне...» — «...ради чего-нибудь...». Ради любви ли, дружеских ли чувств, ради долга ли, ради успокоения ли собственной совести или еще ради чего-либо. Он смиренно готов на все, предоставляя другу полную свободу выбора.

Неусердие в переписке беспокоило корреспондентов молодого ленивца, поскольку нарушало сразу два важных принципа, принятых в их эпистолярном общении. Оба были выдвинуты Кошелевым в одном из ранних писем к Киреевскому и затем к Титову. «Что составляет отличительную черту нашей дружбы? — размышлял он. — Любовь наша друг к другу запечатлена одинакостью мыслей, чувствований и целей жизни. <...>. Доселе мы можем называться *братьями по мыслям*. <...> Лучшее, единственное средство утвердить наше единомыслие состоит в постоянной мене мыслей. Надлежит положить законом писать друг к другу в известные времена. <...> Я уверен, что попечение друг о друге, знание, что все, что я делаю, отзовется в душе, мною любимой, как в моей собственной, уверенность в помощи друга, — все это укрепит меня, и многое, что, может быть, отвратило бы меня от предположенного пути, послужит, напротив, к утверждению в моем намерении, когда я подумаю, что я не один, что я имею друзей, что все мы действуем заедино. <...> деятельность усыпает в нас, когда мы воображаем, что мы одни. Надзор дружбы бесценен».²⁷ Как можно видеть, Кошелев считает необходимым регулярно писать другу и — шире — друзьям о себе, своей внешней и внутренней жизни. По его мысли, это необходимо, во-первых, чтобы сохранить и упрочить связи в разлуке. Во-вторых, чтобы посредством их

²² Там же. С. 566.

²³ РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 42 об. (письмо А. В. Веневитинова к И. В. Киреевскому).

²⁴ Письма А. И. Кошелева И. В. Киреевскому (1822–1828). С. 114 (письмо от 27 апреля 1827 года).

²⁵ РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 1 (письмо В. Ф. Одоевского к И. В. Киреевскому от 28 ноября 1827 года).

²⁶ Цит. по: *Киреевский И. В., Киреевский П. В.* Полн. собр. соч.: В 4 т. Калуга, 2006. Т. 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества. С. 163 (письмо Е. А. Баратынского к И. В. Киреевскому от 6 августа 1831 года).

²⁷ Письма А. И. Кошелева И. В. Киреевскому (1822–1828). С. 120–121 (письмо от 8 июня (1828?) года).

проверять принимаемые в разных жизненных ситуациях решения. В-третьих же, чтобы наиболее полно реализоваться — побуждать себя к служению отечеству, ведь в нем надлежит дать отчет друзьям. Следовательно, неусердие в переписке не могло не тревожить участников дружеского круга. Оно отдаляло ленивца от остальных и ставило под сомнение его деятельность, вызывая вопрос, совершается ли она тем, кто уклоняется от отчета в ней.

Итак, первым условием было регулярно писать друг другу. Самая обычная для эпистографии, издревле свойственная ей традиция рефлексии по поводу процесса переписки (благодарность за ранее полученное письмо, просьба о новом и т. п.) — в переписке круга Киреевского чрезвычайно четко артикулируется, становясь самостоятельной и архиважной темой письма.

Молодые корреспонденты стремились через переписку сохранить монолитность своего дружеского круга, которая его отличала. Думается, не будет преувеличением сказать, что она созидалась, главным образом, усилиями самого Киреевского. По своей коммуникабельности и харизматичности он выступал негласным центром сообщества, всеми силами пытался его сплотить. Симптоматичны его слова, сказанные в письме к Одоевскому: «...мои друзья должны быть дружны между собою» (с. 357). С одной стороны, стремясь сплотить дружеский круг, Киреевский, с другой, расширяя его, привлекая туда все новых членов. Приведенными словами он подкрепил свою просьбу к адресату письма — принять его друзей супругов Д. Н. и Е. А. Свербеевых как своих и помочь им. Вне всякого сомнения, с подобной просьбой и с подобными же словами о дружбе Киреевский обратился и к Алексею Веневитинову в несохранившемся письме, отвечая на которое тот уведомлял его: «...я ж, с своей стороны, исполнил твою комиссию, Киреева полюбил как приятеля Киреевского, познакомил его с Вяземским и на последях был на прощальном и повальном торжестве, данном в его честь и славу. Тут не забыл я выпить <...> в твоё здоровье и потом за здоровье всей московской собратии».²⁸ Последнее слово очень характерно. Участники дружеского круга Киреевского действительно часто говорят о своем «братстве», и для них это не риторика.

Киреевский в письме к Шевыреву именуется дружеский круг «...истинным, неслучайным семейством» (с. 343). Он размышляет об этом в связи с ситуацией, в которую попал и которую тяжело переживал их общий друг Рожалин: его отец собрался жениться на «недостойной» (с. 343) женщине. Создаваемой таким образом «случайной» семье Киреевский противопоставляет «истинную» дружескую. Он считает очень важным сообщать утешить Рожалина напоминанием о нерушимости дружеских уз, а также помочь «советом дружбы» (с. 343), в котором Рожалин, славившийся своей нерешительностью, так нуждался. Вторя Киреевскому, Баратынский тоже говорит о дружеских связях как о родственных. Более того, он включает друга — наравне со своей молодой, любимой женой (А. Л. Баратынской, урожд. Энгельгардт) — в узкий семейный круг: «Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастью; картина его была бы весьма неполной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удовольствии, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою мы тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы оба видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни».²⁹ И Кошелев мыслит в подобном ключе. Он мечтает вместе с друзьями публиковаться в журнале «Московский вестник», в котором они соединились бы в «одно семейство».³⁰

Тема дружбы, таким образом, составляет одну из лейтмотивных тем переписки молодого Киреевского, утверждающей ни больше ни меньше как культ дружбы. Это

²⁸ РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 16 (письмо от 17 мая 1833 года).

²⁹ Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 164–165 (письмо Е. А. Баратынского к И. В. Киреевскому от августа 1831 года). В этом отношении справедливо наблюдение И. М. Семенко, заметившей равнозначность для Баратынского любви и дружбы как двух великих ценностей жизни (см.: Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. М., 1970. С. 222).

³⁰ Письма А. И. Кошелева И. В. Киреевскому (1822–1828). С. 117 (письмо от 17 сентября (1827?) года).

было очень в духе эпохи, по известному определению прот. Георгия Флоровского, «эпохи романтизма в русской культуре, романтизма не в литературе только, — еще более романтизма в жизни».³¹ Если для Пушкина романтизм уже в 1820–1830-е годы тесен, то Киреевского и его друзей он вполне удовлетворяет. Будущий славянофил с юношеским максимализмом провозгласил: «...пусть письма наши докажут, что нет границы между нами» (с. 334) — и этим выразил общую установку.

Друзья стремились ее реализовать разными способами. Во-первых, это совместное переживание важных событий, несмотря на разлуку: памятных дат («Ты получишь это письмо около 15 марта <...>. Вспомни тогда обо мне точно так же, как я буду помнить о тебе»,³² — пишет Киреевскому Алексей Веневитинов, имея в виду годовщину смерти своего брата Дмитрия³³), праздников. Так, путешествующий по Европе Соболевский сообщает Одоевскому, что вспомнил о нем в день его имени и выпил за его здоровье.³⁴ Киреевского же он поздравляет «с новым русским годом» и уведомляет, что поднял за него бокал и что тоскует по друзьям. Известный эпиграмматист своего времени, Соболевский с присущим ему юмором вписал в письмо по этому случаю экспромт:

Как жаль, что по брегам красно цветущим Арно
Гурьбой не ходим мы в вечерний час попарно,³⁵ —

типичный образчик его литературного творчества.³⁶

Во-вторых, это стремление держать друг друга в курсе своей внешней и внутренней жизни. Соболевский в посланиях к Киреевскому, Одоевскому, Шевыреву описывает Европу — главным образом красоты природы и литературно-культурную обстановку. Одоевский и Веневитинов сообщают о происходящем в Петербурге, Киреевский — в Москве. В большинстве их писем акцент также делается на новости в сфере литературы и культуры — наиболее им интересной и близкой. Характерно, что Кошелев просит Киреевского делиться не всеми, а только «замечательными <...> новостями (т. е. интересными и верными <...>)».³⁷ В этом выражается общая для «братства» позиция: доверие к выбору друга, глубокое чувство единомыслия, предпочтение не расхожих сплетен, а аксиологически значимого, одновременно экономия объема текста — лучше сказать меньше о происходящем в обществе и больше о происходящем в своей жизни и в жизни дружеского круга. «...Москва болтлива, — поясняет Кошелев Киреевскому дружески-полушутя, — и если б взял на себя труд писать все говоренное ею, то я бы тем лишился удовольствия иметь известия о твоём индивидуе...»³⁸

Каждый стремится рассказать все, что знает о «братии», шлет друзьям приветы и поклоны. Причем это облачается либо в нейтральную / доверительную, либо в шутивную форму. Фамилии друзей и общих знакомых зачастую сокращаются, вопреки эпистолярному этикету, а иногда даже и искажаются. То и другое свидетельствует о совершенной свободе их общения, так свойственной дружескому письму. «...О приезде Шевырева и Веневитиновых ты, вероятно, уже знаешь... — замечает Киреевский Соболевскому и вопрошает его: — Что Титов? Что Одоевский? Что Цветочек Полевой? Что Хомяк? (имеются в виду Н. А. Полевой и А. С. Хомяков. — М. К.) Если будет время, то напиши мне об них» (с. 209–210). Позже уведомляет его же: «Титов, и Кошелев, и Одоевский пристально и по-старому работают в Петербурге.

³¹ Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 234.

³² РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 3 (письмо от 9 марта (1831?) года).

³³ Д. В. Веневитинов ушел из жизни 15 марта 1827 года.

³⁴ РНБ. Ф. 539. Оп. 2. Ед. хр. 1003. Л. 21 (письмо от 27 (15) (1829?) года).

³⁵ РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 134. Л. 5.

³⁶ Ср. его произведения: Соболевский С. А. Миллион сочувствий. Эпиграммы / [Сост., автор вступ. статьи и прим. В. А. Широков]. М., 1991.

³⁷ Письма А. И. Кошелева И. В. Киреевскому (1822–1828). С. 110 (письмо от 29 июня 1826 года).

³⁸ Там же.

Мы с Веневитиновым ничего не делаем в Москве. <...> Шевырев с Волк<онской> в Дрездене, утешают Рож<алина>» (с. 228). «Последнее воскресенье провели мы с Барат<ынским> вдвоем <...>. Рукожатствуй Веневитинова» (с. 358), — пишет Киреевский Одоевскому, прибегая к популярному в дружеской эпистолографии пушкинской эпохи словотворчеству. «Соболевский расхаживает себе с рыжими боро-дою и усами <...>, — весело информирует Киреевского Веневитинов, — Одоевский по-прежнему мил и музыкален»,³⁹ — и просит: «Поклонись твоему брату и всей братии».⁴⁰ С подобной просьбой обращается к Киреевскому и Одоевский: «Обними за меня Шевырева и Баратынского...»,⁴¹ — добавляя полушутя: «Поклонись Баратынскому, Мельгунову, самому себе...».⁴² Иногда имеют место даже поручения кому-нибудь из участников дружеского круга прочитать послание, адресованное другому. «Прочти мое письмо к Кошелеву, — говорит Одоевский Киреевскому, — там я пишу все, что делаю».⁴³

Итак, как можно видеть, целым рядом способов нивелируя разделяющее их пространство, друзья стараются сохранить в переписке всю полноту кружкового общения. Они часто не довольствуются эпистолярным диалогом tête-à-tête с кем-то из корреспондентов. В этой устойчивой тенденции к «расширению» письменной коммуникации отражаются те две важные особенности, характерные для дружеского круга Киреевского, на которые мы уже указывали: стремление к потенциальной разомкнутости границ (по принципу: друг одному из нас — друг всем, написал одному — написал всем и т. п.) и одновременно к монолитности. Как представляется, ни та ни другая не были в такой степени свойственны эпистолярному пушкинского круга (при огромной, конечно же, ценности для них дружбы, и в первую очередь для самого Пушкина), гораздо больше выражена установка на литературность письма: письмо пишется скорее для решения литературных задач, чем для укрепления дружеских связей; последние, хотя и очень ценимы, не романтизируются. Отсюда гораздо большая роль личности — автора письма — в переписке. Самый яркий пример — конечно же, личность Пушкина. Он — своего рода незыблемый центр переписки. Любопытны наблюдения И. А. Паперно: «Текст письма Пушкина сохраняет память о письме, на которое он отвечает <...>, обо всей переписке с определенным адресатом <...>, о письме другого адресата примерно того же времени <...>, о своем синхронном письме другому адресату <...> и т. д.»;⁴⁴ «Пушкин подхватывает и обыгрывает темы, вбрасываемые его корреспондентами, и только то, что замечает и развивает Пушкин, становится значимым. Это развитие обычно игровое. Пушкин сознательно организует текст переписки, который как целостный текст существует для него, ибо Пушкин, единственный из всех корреспондентов, знает весь текст переписки и получает удовольствие от игры пересечения общих контекстов, пересечения точек зрения, создающих в месте перекрещивания многослойную семантику».⁴⁵

³⁹ РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 42.

⁴⁰ Там же. Л. 42 об.

⁴¹ Там же. Ед. хр. 104. Л. 7.

⁴² Там же. Л. 7 об.

⁴³ Там же. Л. 7.

⁴⁴ Паперно И. А. Переписка Пушкина как целостный текст (май–октябрь 1831 г.) // *Studia metrica et poetica*. [Вып.] 2. С. 77.

⁴⁵ Там же. С. 79–80. Целый ряд исследователей, в числе которых Л. И. Вольперт, З. М. Данкер, О. В. Пригожая, тоже в «литературном» ключе рассматривают переписку Пушкина. Первые две — сосредоточиваясь на одном периоде: Л. И. Вольперт — на михайловском, З. М. Данкер — на болдинской осени, настаивая, что эпистолярный — органичная часть творчества Пушкина этого времени. О. В. Пригожая же останавливается на одном адресате, Языкове, причем включает в эпистолярный диалог как письма, так и стихотворные послания. См.: Вольперт Л. И. Дружеская переписка Пушкина михайловского периода (сентябрь 1824 г. — декабрь 1825 г.). С. 49–62; Данкер З. М. Текстовое пространство А. С. Пушкина как завершенная открытая эстетически значимая структура // *Вестник СПбГУ*. Сер. 9. 2010. Вып. 2. С. 21–22; Пригожая О. В. Переписка А. С. Пушкина с Н. М. Языковым как целостный текст // *По царству и поэт: Материалы всероссийской науч. конф. «Н. М. Языков и литература пушкинской эпохи»* / Сост. и отв. ред. А. П. Рассадин. Ульяновск, 2003. С. 123–134.

Это, разумеется, не означает, что в переписке Киреевского и его дружеского круга не важна личность отправителя письма. Напротив, его роль очень важна, но не столько как автора, создающего эпистолярно-литературный текст, сколько как человека и друга (не могло, наверное, не сказаться то, что многие друзья-корреспонденты Киреевского: Кошелев, Веневитинов, Титов, Рожалин и пр. — в 1820–1830-е годы отходят от литературы, не в ней видя свое основное занятие). Подобным образом расценивается и адресат, в отличие от переписки пушкинского круга, где он «вбрасывает» темы, мотивы, выражения, ложающиеся в основу творческой игры, экспериментов и порывов автора.

Итак, в дружеском общении Киреевского делается акцент на личность. Каждый участник этого общения предстает, во-первых, перед своей собственной совестью. Характерно, что, как свидетельствует письмо Одоевского к Киреевскому 1827 года, друзья взялись вести дневники: «Напиши мне об успехах твоего Журнала, сиречь Дневника. Мой, грешен, идет худо. Перечитывая его как-то, я нашел удивительную пустоту и детскость мыслей. С досады отложил я продолжать впредь до вдохновения».⁴⁶ К сожалению, эти юношеские дневники не сохранились. Можно предположить, что идея их вести принадлежала Киреевскому и родилась под влиянием его семьи, прежде всего — матери и Жуковского. Последний и сам вел дневники, и повлиять в этом на Марию Протасову; вела дневники и сестра Киреевского Мария.⁴⁷ Каждый из участников переписки, во-вторых, предстает перед лицом своего адресата, в диалоге с ним. И наконец, в-третьих, — перед лицом всего дружеского круга.

Нельзя сказать и того, что, в отличие от пушкинской, дружеская переписка Киреевского не решает литературных задач. Письма будущего славянофила очень литературны. С одной стороны, он чутко реагирует на эпистолярные традиции своей эпохи, с другой — успешно экспериментирует. В большей или меньшей степени в этих литературных экспериментах участвуют и его друзья, совершая их в чем-то схоже и таким образом поддерживая друг друга в творческих решениях, вновь проявляя монолитность, а в чем-то по-разному, обнаруживая нелинейность развития эпистолярной прозы.

Монолитность и одновременно многомерность дружеского круга Киреевского, оказавшаяся плодотворной для его переписки, проявлялась, в частности, в том, что в его кружке сошлись, в отличие от пушкинского круга, не только литераторы (преимущественно поэты), но и мыслители, созерцатели, практики. Прислушиваясь друг к другу, стремясь к единомыслию и одиночеству, к сплочению в «семейство», каждый оставался собой, привносил что-то особенное, обогащая (и усложняя) этим дружеское общение. Оно составляло органичную и в то же время своеобразную часть русской эпистолярной культуры 1820–1830-х годов. С одной стороны, демонстрировало те же тенденции развития эпистолярного жанра, что и переписка их современников — в частности, «буффонадность» в духе арзамасской. С другой — выделялось на фоне переписки пушкинского круга тем, что эту «буффонадность» не абсолютизировало. Шутка в сочетании с доверительностью — имела актуальность и для Киреевского, и для всех его друзей. Показательно, например, письмо Рожалина из-за границы: попав в крайне трудную ситуацию (у него ночью отрезали от кареты чемоданы, и он остался без вещей и средств), автор письма сообщает об этом Киреевскому, тяжело переживая произошедшее и прося не рассказывать «никому, кроме своих».⁴⁸ Рожалин

⁴⁶ РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 1 (письмо В. Ф. Одоевского к И. В. Киреевскому от 28 ноября 1827 года).

⁴⁷ Дневник М. В. Киреевской с 1 января 1825-го по 26 июня 1829 года см.: РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 495. 47 л.; дневник с августа 1846-го по декабрь 1847 года см.: РГБ. Ф. 99. К. 25. Ед. хр. 11. 1824–1847. 28 л. Подробнее см.: *Рябий И. Г., Рябий М. М.* 1) Размышление над дневником Марии Киреевской // Святоотеческие традиции в русской литературе. Материалы науч.-практич. конф.: В 2 ч. Омск, 2005. Ч. 2. Русская литература как культурный феномен. С. 105–109; 2) Размышление о духовных ценностях, которые мы утратили: открытие дневника Марии Киреевской // Славянский мир: общность и многообразие. Материалы международной конференции. [Ханты-Мансийск, 2007]. С. 278–295.

⁴⁸ РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 126. Л. 1 (письмо Н. М. Рожалина к И. В. Киреевскому от 12 марта 1834 года).

уверен в сострадании и помощи друга, как и в том, что тот вволю посмеется, к чему, если бы не ужас его положения, был бы склонен и сам, осознавая трагикомизм ситуации. «Если ты теперь вообразишь себе меня, — пишет Рожалин, — без рубашек, без чулок, без платков, с двумя талерами в кармане, и представишь себе живо все неприятные шаги, которые я должен сделать, чтобы прожить до твоего ответа, то верю, что ляжешь на свой диван и будешь хохотать *по-своему*, но, верно, также поймешь, что мне совсем не до смеху. Так не до смеху, что мне даже *невозможно* продолжать этого письма».⁴⁹ Шутка в сочетании с доверительностью как общий для круга Киреевского принцип в каждом отдельном случае корректировался личными предпочтениями автора письма и его адресата, как и взаимоотношениями корреспондентов.

Так, переписка Киреевского с Соболевским, равно как и переписка Соболевского с Одоевским и Шевыревым, велась по большей части в «буффонадной» тональности. Этот тон задавал, конечно, прежде всего сам Соболевский, весельчак-эпиграмматист. В подобном духе он переписывался и с Пушкиным. Возможно, именно от Пушкина через посредничество Соболевского «буффонадная» тональность была воспринята дружеским кругом Киреевского. Но, как бы то ни было, она оказалась органичной и применялась творчески, по-своему. Любопытно, что письма Киреевского к Соболевскому «буффонаднее», чем письма Соболевского к Киреевскому (об одном из них последний даже сказал: «...не знаю, к кому, кроме тебя, мог бы я написать такое, не сомневаясь, что оно не произведет дурного действия» — с. 239), и в то же время душевнее. Эпиграмматист писал ему и всей «братии» в архиважной для пушкинского круга традиции, основанной на оксюморонном сочетании разностилевых слов; сам Киреевский прибег к ней в дружески-пародийных письмах к Вяземскому (см. с. 362–364). В единственном сохранившемся послании к Пушкину Соболевский сталкивает высокую лексику и тематику (религиозную и литературную, последнюю соотносит, разумеется, с адресатом) и низкую: прозаическую, преимущественно гастрономическую, соотносимую им с самим собой, ведь он создал вокруг себя амплуа прожигателя жизни, безудержного в вине и пище;⁵⁰ попадая в «его» сферу, высокое снижается, поэтическое прозаизируется — ср.: «Христа ради, Александр Сергеевич, стихшков и прозы, прозы и стихшков, на обед, на вино, на лошадей, и Бог знает на что еще. Прошу помогать».⁵¹ В письмах же к Киреевскому и «братии» он зачастую сталкивает грубо-«буффонадное», соотносимое с самим собой, и чувствительно-доверительное, значимое для кружка Киреевского. Разноплановое может совмещаться в основанном на парадоксе одном слове — неологизме («...душеобразный мой Шевырев...»⁵²), либо словосочетании, одном или нескольких предложениях — например: «Ты меня порядочно тиранишь, душа моя Киреевский. Все пишу, и пишу тебе <...>, и нет ни словечка ни от тебя, ни от него, урода!»⁵³ Комический эффект рождается в результате соединения традиционного для эпистолярия и особенно акцентированного в сентименталистской парадигме начала XIX века «душа моя» — с грубым «урод», «тиранишь» (ср. похожий стилистический оксюморон у Пушкина: «Какая ты дура, мой ангел!»⁵⁴). Иногда Соболевский, как и Пушкин и его корреспонденты, позволяет себе в письмах непечатную лексику.

Киреевский в письмах к Соболевскому тоже идет этими путями, допуская всевозможные вольности. Как и Пушкин, он смакует мотив безудержности Соболевского

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ См. подробнее о Соболевском: *Апостол П.* Библиофил С. А. Соболевский // *Временник общества друзей русской книги.* Париж, 1932. № 3. С. 107–122; *Березин-Ширяев Я. Ф.* Сергей Александрович Соболевский (Из воспоминаний библиофила). СПб., 1892; *Иваск У. Г.* Сергей Александрович Соболевский и его библиотека. М., 1906; *Кунин В. В.* Библиофилы пушкинской поры. М., 1979. С. 17–204; *Саитов В. И.* Сергей Александрович Соболевский // *Соболевский — друг Пушкина.* СПб., 1922. С. 3–22.

⁵¹ Соболевский — друг Пушкина. С. 28 (письмо от 2 октября (1833?) года).

⁵² Выдержки из заграничных писем С. А. Соболевского к С. П. Шевыреву (1829–1833) // *Русский архив.* 1909. Вып. 7. С. 475.

⁵³ РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. Ед. хр. 134. Л. 7 (письмо к И. В. Киреевскому).

⁵⁴ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. Т. 15. С. 145 (письмо к Н. Н. Пушкиной от 12 мая 1834 года).

в гастрономическом отношении (ср. у Пушкина: «Мне пишут, что ты болен; чем ты объелся?»),⁵⁵ «Прощай, обжирайся на здоровье»⁵⁶), называя его «милый Пузо» (с. 224), и затем, в ответ на его протесты:⁵⁷ «...моя стройная талия, если ты не хочешь быть пузом» (с. 228); «...Милая Головушка, если ты расхотел быть Милым Пузом...» (с. 229). Как и сам Соболевский, Киреевский «буффонадно» сталкивает поэтическое, чувствительное, ласково-доверительное («милый») с прозаическим-телесным («пузо», «талиа», «головушка»), сталкивает и само телесное — «пузо» и «головушку» (первый элемент в этой антитезе символизирует, понятно, низменное чревоугодие, которому так предан адресат, второй — высокую деятельность ума, в наличии которой у него автор письма ехидно сомневается). Наконец, сталкивает чувствительное с нарочито разговорным («Милая моя Головушка <...> *похерим*» — с. 229), вполне в пушкинско-арзамасской традиции соединяет разговорное («...отбился от рук и куролесит во всю Ивановскую...» — с. 228) и высокое, архаичное («...в восторге изрек...» (с. 228); ср. также: «Я бомбардирую его великий лик письмами» — с. 223); занимается словотворчеством («Музеум лепоумия», «смехоплесканья» — с. 224) и т. п.

Вместе с тем Киреевский гораздо чаще, чем Соболевский, дает экспансию грубо-прозаическому, которое может заполнить собой даже все пространство текста, захватив в свою орбиту и автора («Будь я скотина, если я солгал» — с. 209), и адресата («Прощай, скотина. <...> Прощай, ж<...> разэтакая. <...> Ах! Прощай, чья красна рожа, / Как подошвы толстой кожа / И приятна, и нежна» — с. 210–211), и общих знакомых («...Погодин <...> дурак...» — с. 210), и самую поэзию (показательны непоэтичные образчики стихотворства, включенные в письмо) — абсолютно все. Но Киреевский все же, пусть и весьма дозированно, вводит в свои «буффонадные» послания к Соболевскому неведомый ни посланиям последнего, ни арзамасским — подлинный лиризм. Не довольствуясь обычным для дружеской эпистографии своего времени обращением к адресату по фамилии с эпитетом «милый» (встречающимся и у Пушкина в отношении к Соболевскому — «Мой милый Соболевский...»;⁵⁸ правда, это обращение единично, гораздо чаще поэт именует его «безалаберным»,⁵⁹ давая оценку его образу жизни и предпочитая «интимности» «буффонаду»), слишком привычным и к 1820–1830-м годам приобретшим клишированный характер, — Киреевский начинает письмо к другу по-своему, интимно-доверительно, обнажая личные чувства к нему: «Не сердись на меня, милый Сережа...» (с. 236). Подобным образом — в доверительно-исповедальной тональности — он может и закончить письмо к Соболевскому: «Твой всем сердцем И. Киреевский» (с. 237). Эта чувствительность была органична для Киреевского не меньше, чем «буффонадность», и, возможно, не в последнюю очередь сложилась под влиянием матери и Жуковского, которые вели семейную переписку — в частности, с Киреевским — в такой тональности.⁶⁰

В переписке же Киреевского с Кошелевым и Баратынским ситуация «обратная»: при наличии «буффонадности» преобладает доверительно-исповедальная тональность. Его письма к последнему, правда, не сохранились, но о них можно судить по ответам адресата. Баратынский стремится рассказать Киреевскому все, чем живет. Сообщает о своей семейной жизни, состояниях души, мыслях, литературных занятиях и взглядах и т. п. По замечанию Г. Хетсо, «Киреевский был родствен по духу

⁵⁵ Там же. Т. 13. С. 312 (письмо от 1 декабря 1826 года).

⁵⁶ Там же. Т. 14. С. 22 (письмо от 3 июля 1828 года).

⁵⁷ «Ты меня называешь *милым пузом*, — писал Соболевский, — за прилагательное благодарю, да уж прикладывать-то к чему пузо?» (Письма С. А. Соболевского. С. 570; письмо к И. В. Киреевскому от 23 февраля (7 марта)).

⁵⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. Т. 13. С. 302 (письмо от 9 ноября 1826 года).

⁵⁹ Там же. С. 348 (письмо от ноября (после 10) 1827 года), 350 (письмо от декабря 1827 года (?)).

⁶⁰ Их переписка, замечает прот. Д. В. Долгушин, «...ориентировалась на сентименталистское литературное произведение <...>. В эту традицию А. П. Елагина вводила и своих детей...» (Долгушин Д. В., прот. В. А. Жуковский и И. В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма. М., 2009. С. 20).

Баратынскому»,⁶¹ вследствие чего они так быстро и сильно сблизились. Баратынский рефлексирует по поводу своей дружбы и переписки с Киреевским; то и дело признается: «Вот тебе моя психологическая исповедь»;⁶² «Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь без застенчивости: это значит, что никто еще не внушал мне такой доверенности к душе своей и к своему характеру»⁶³ и т. п. Его автохарактеристики весьма точны. Действительно, послания Баратынского в значительной степени наследуют традициям доверительно-исповедальной эпистолографии конца XVIII — начала XIX века, несмотря на то, что он, конечно же, не сентименталист, его интересуют отнюдь не только состояния души и самоанализ. Но самоанализ, состояния души — своей и друга-адресата — его очень занимают.⁶⁴ В этом отношении, как и в других, Баратынский-эпистограф (как и Баратынский-поэт, охарактеризованный бессмертными строками Пушкина: «...он шел своею дорогой, один и независим»⁶⁵) выделялся на фоне своих современников, поэтов пушкинской эпохи. Характерно наблюдение И. М. Семенко, что его письма «...лишены того стремления к воссозданию колорита устной речи автора письма, которая была столь свойственна письмам Давыдова, Языкова, Вяземского, Пушкина. В письмах Баратынского слабо проявляется индивидуальная речевая манера, они несут на себе печать „книжности“». ⁶⁶ Очень справедливо и суждение современного исследователя: «Письма Е. А. Боратынского отличаются тем, что при соблюдении разговорности, семантики намеков и других новых веяний эпистолярной культуры (преимущественно арзамасской. — М. К.) в них достаточно места занимает описание эмоций, чего арзамасцы часто избегали в своих письмах».⁶⁷

Думается, Л. Я. Гинзбург, проследившая развитие эпистолярного жанра в России начала XIX века от исповедальной традиции до арзамасской «буффонадной», для характеристики последней не совсем точно применила слова Баратынского о «застенчивости чувства» из письма к Киреевскому.⁶⁸ Поэт говорил о ней не в отношении дружеской переписки в целом и не в отношении своей переписки с Киреевским (характерно, что в вышецитированных письмах он, наоборот, настаивает на «излияниях» «без застенчивости»), а в связи с конкретной ситуацией, которую, как можно понять, тот обрисовал ему в утраченном послании. По всей видимости, речь шла о тяжелой обстановке, сложившейся в доме Елагиных-Киреевских в начале 1830-х годов. Она была непростой с 1829 года, когда Иван посватался к своей троюродной сестре Наталье Петровне Арбеновой и получил отказ, мотивированный отношениями родства. Самый близкий человек, мать, Авдотья Петровна, не поняла и не поддержала сына, не одобряя его выбора. В 1831 году (а именно этим или 1832 годом предположительно датируется письмо Баратынского) ситуация ухудшилась: несостоявшаяся невеста осиротела и вынуждена была переехать к своей замужней сестре М. П. Норовой, однако не ужилась с ее супругом и впоследствии снова переехала. Положение ее было сложным и не могло не мучить Киреевского, как не могло его, наверное, не мучить и желание

⁶¹ Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Oslo; Bergen; Tromsø, 1973. С. 162. О дружбе Киреевского и Баратынского см. также: Филиппович П. П. Жизнь и творчество Е. А. Боратынского. Киев, 1917. С. 108–109.

⁶² Киреевский И. В., Киреевский П. В. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 163 (письмо Е. А. Баратынского к И. В. Киреевскому от 6 августа 1831 года).

⁶³ Там же. С. 165 (письмо от августа 1831 года).

⁶⁴ Они важны и для его лирики. См. подробнее, например: Маняхин А. В. Концепты «дух», «душа», «сердце» и «мысль», «разум», «рассудок» в лирике Е. А. Боратынского: лингвистический аспект. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2005. С. 13–16, 20–21.

⁶⁵ Пушкин А. С. Баратынский // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. Т. 11. С. 186.

⁶⁶ Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. С. 222.

⁶⁷ Фесенко О. П. Дружеский эпистолярный дискурс пушкинской поры. Омск, 2008. С. 38. Вместе с тем, и также небезосновательно, исследователь выявляет и общие тенденции эпистолярной культуры эпохи в дружеских письмах Баратынского. См.: Фесенко О. П. Жанровые особенности дружеских писем Е. А. Боратынского // Вестник Тамбовского гос. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. Филология. 2008. Вып. 1 (57). С. 143–146.

⁶⁸ Гинзбург Л. Я. 1) «Застенчивость чувства». По поводу писем людей пушкинского круга. С. 187; 2) Эвфемизмы высокого (По поводу писем людей пушкинского круга). С. 206.

возобновить вопрос о сватовстве, что он и сделает, но позже — в 1834 году, на этот раз мать его поддержит и дело закончится свадьбой. Пока же, в начале 1830-х годов, молодой человек, очевидно, пребывал в растерянности и унынии. Он глубоко в сердце таил чувство к Наталье, то чувство, которое часто не высказывают даже самым близким, и тем более Киреевский, который как бы не имел на него права, — не мог его высказать: ни другу, ни матери, ни даже самому себе. «Не хочу насилловать твоей доверенности, — деликатно пишет ему Баратынский, — знаю, что она у тебя в сердце, хотя и не изливается в словах, понимаю эту застенчивость чувства, не прошу тебя входить в подробности, но прошу хотя общими словами уведомить меня, каково тебе и что с тобою. Таким образом ты удовлетворишь и любопытству дружбы, и той стыдливой тайне, которую требует другое чувство».⁶⁹ Под другим чувством, несомненно, подразумевается любовь к женщине.

Возможно, история с Арбеновой была не единственным поводом для переживаний Киреевского. «В твоём письме много печальных известий. <...>, — говорит ему Баратынский. — Не могу опомниться от траурного твоего письма и вообразить без грусти ваш дом, <...> теперь исполненный такого глубокого уныния».⁷⁰ Тем больше оснований было у Киреевского недовысказать другу свое тяжелое состояние души, в которое, наверное, нельзя было углубиться без боли. Но тот факт, что он все же написал Баратынскому, сообщил все это множество «печальных известий» и даже, хотя и «откровенными намеками»,⁷¹ обозначил ему свое состояние, — бесспорно свидетельствует о глубокой доверительности их эпистолярного общения. Подтверждая ее со своей стороны, Баратынский пытается читать между строк и вчувствоваться в состояние друга, пережить вместе с ним малейшие оттенки его переживаний (ср.: «Чувствую, дело твое положение, хотя и не совершенно его знаю. Темная судьба твоя лежит на моем сердце. Ежели в некоторых случаях бесполезны советы и даже утешения дружбы, всегда отрадно ее участие»⁷²), самозабвенно беспокоится о нем («...мне нужны твои письма. Когда просветлеет у тебя на душе, и я буду это знать, можешь откладывать от почты до почты, но теперь это будет тебе непростительно»⁷³).

Вероятно, в эпистолярном диалоге Баратынского и Киреевского первый больше «говорил», второй больше «слушал», будучи сам не склонен или не готов к душеизлиянию, но «душой своей» и «своим характером» располагая к этому адресата. Скорее всего, Киреевский дозировал доверительные признания, временами переключая исповедальную тональность в «буффонадную» (примечательно, что в ответе на его письмо Баратынский благодарит за «дружеское поздравление и милые шутки»⁷⁴), — и все же первая преобладала. Вряд ли бы Баратынский «изливался без застенчивости», если бы это было не так. Вкрапление шуток в письмах Киреевского к нему могло быть таким же небольшим, как вкрапление серьезно-доверительных признаний в «буффонадные» письма к Соболевскому.

Регистр доверительно-исповедальной тональности в переписке Киреевского с ближайшим другом, Кошелевым, был несколько иным, не однородным. В некоторой степени она близка тональности переписки с Баратынским. «...Дари меня, хоть изредка, письмами, которые бы сообщали мне известия о состоянии твоем, как нравственном, так и телесном», — просил Кошелев; «Благодарю тебя за твои расспросы обо мне и охотно буду отвечать на них обстоятельно, — обещал Киреевский, — ибо нет тяжелее состояния, как быть неузнанным теми, кого мы любим» (с. 201), — позднее он же признавался Кошелеву: «...хорошо и *мягко* в эту минуту! Какая-то музыка в душе, беспричинная *Эолова* музыка (отсылка к балладе Жуковского «Эолова арфа»). — *М. К.*),

⁶⁹ Татевский сборник С. А. Рачинского. СПб., 1899. С. 39 (письмо Е. А. Баратынского к И. В. Киреевскому от (1832?) года).

⁷⁰ Там же.

⁷¹ Там же.

⁷² Там же.

⁷³ Там же. С. 140.

⁷⁴ *Киреевский И. В., Киреевский П. В.* Полн. собр. соч. Т. 4. С. 171 (письмо от ноября 1831 года).

не связанная ни с какой мыслью. Зачем неспособен я верить! <...> беспричинное чувство в душе моей <...> сердечная музыка...» (с. 360). Но здесь «душеизлиянная» исповедальность в духе Баратынского скорее лишь намечается. Потребность в ней и подготовка к ней, очевидно, есть, но эта потребность так и осталась нереализованной. Возможно, потому, что Кошелев, как и Киреевский и в отличие от Баратынского, проявлял сдержанность. Нарочитая серьезность писем Кошелева, очевидно, препятствовала экспансии «буффонадности» в ответных посланиях Киреевского. Он вводит ее элементы очень дозированно. В частности, сюжет одного из писем организует с помощью рефрена-шутки: «Кошелев, пиши стихи!» (с. 218), — и в шутливо-серьезном тоне рисует в нем образы себя и своего корреспондента.

В целом же в эпистолярном диалоге Киреевского и Кошелева имеет место не столько «буффонадность» и «душеизлиянная» исповедальность, сколько своего рода «ментальная» исповедальность: они решали прежде всего вопрос о самореализации, поставленный Кошелевым уже в начале переписки. Инициатор вопроса считал выбор друга, сделанный в пользу литературной деятельности, недостаточным и сомневался, что тот осуществляет даже и ее. «Ты говоришь, что читаешь мало, да что же ты делаешь? — писал он ему не без ехидства. — Неужели все только куришь, пьешь кофе или какао и всходишь и нисходишь по своей лестнице? Это очень не идеально. Извини, я позабыл: ты притствуешь. <...>. Пора бы тебе, любезный друг, перестать ребячиться, выбрать поприще и постепенно подвигаться на нем, не отвлекаясь беспрестанно то в ту, то в другую сторону».⁷⁵ Сомнения Кошелева, не совсем безосновательные, лучше всего опровергают письма Киреевского, сами по себе имеющие неоспоримую литературную ценность и подтверждающие наличие у него таланта. Более того, литературную ценность в большей или меньшей степени имеет и вся монолитная и одновременно разнородная переписка дружеского круга.

Литературную ценность дружеской переписки и значимость последней для развития литературы пронизательно чувствовал сам Киреевский. На мучительный для логика и практика Кошелева, не раз им поднимавшийся вопрос о неразработанности языка прозы,⁷⁶ тогда же поднимавшийся и блистательно решавшийся Пушкиным, — ему дает ответ друг «поэт». Точнее, два ответа: надо писать стихи, язык которых разработан («Знаешь ли ты, отчего ты до сих пор ничего не написал? Оттого, что ты не пишешь стихов. Если бы ты писал стихи, тогда бы ты любил выражать даже бездельные мысли, и всякое слово, хорошо сказанное, имело бы для тебя цену хорошей мысли <...>. Только тогда пишется, когда весело писать, а тому, конечно, писать не весело, для кого изящно выражаться не имеет самобытной прелести, отдельной от предмета» — с. 218), и дружеские письма («Между тем пиши и письма, — советует он в том же послании. — <...>. Отчего бы, например, не развивать тебе твои мысли об истории в письмах ко мне. <...>. Одно условие: пиши без приготовлений, что в голову придет, и в том порядке, как придет в голову» (с. 219–220); и в другом замечает: «...ты напрасно не прислал мне того письма, которое писал: что за дело, что оно не кончено, вообразим, будто я перервал тебя в половине спора, в твоём Ильинском <...>. Ты начал, я продолжаю, — кто-нибудь кончит» — с. 352). Стихи, а следовательно, и все литературные произведения, с одной стороны, и дружеские письма, с другой, в его представлении, очевидно, родственны, и прежде всего в том отношении, что предполагают

⁷⁵ Там же. С. 115 (письмо от 1 июля (1827?) года).

⁷⁶ «...Я весьма недоволен своими выражениями, — сетовал он в одном из писем, — беспрестанно надобно их сочинять, ибо слова, обороты, Академическим словарем допущенные, достачны едва для Шаликова. Это очень затруднительно. Я чувствую, что мои мысли выражены не довольно просто и полно, и это меня бесит. <...> сам не могу вынести, чтоб мои мысли были так изуродованы. Все мои опыты сохраняю, чтоб показать тебе, что не лень виною замедления в отправлении письма. <...> Всего труднее для меня высказать мое мнение коротко и ясно» (Там же. С. 102–103; письмо от 20 августа 183(?) года). По тому же поводу Кошелев переживал и в другом письме: «Многое, весьма многое ты будешь угадывать, и моя неопытность в рассуждениях философских, и необработанность нашего языка в сем отношении не полно и не ясно передали мои мысли. Если бы не другу, то верно не поверил бы чад неокрещенных» (Там же. С. 109; письмо от 30 августа 1832 года).

полную свободу автора. Ее в связи с дружеским письмом чувствовал и Кошелев, говоря: «Если бы не другу, то верно не поверил бы чад неокрещенных». Примечателен родившийся у него в дружеском письме в конце этой фразы «поэтизм» — метафора.

Думается, центральный литературный принцип, который Киреевский имеет в виду, размышляя о перспективах поэтического творчества и дружеского эпистолярного письма, можно обозначить как принцип болтовни. Болтовни, конечно, не в смысле празднословия, на которое у молодого автора и его корреспондентов, нацеленных на служение отечеству, нет времени. Речь идет о болтовне в смысле полной свободы дружеского общения. Характерно, что Киреевский и его корреспонденты, как правило, четко разделяют сферы «дела» и «письма», или, что то же самое, сферы деловой и дружеской эпистолярной коммуникации. К последней они применяют слово «болтать» — ср.: «Вот бы тебе письмо деловое <...>. На днях буду писать к тебе не об делах» (с. 230), «До сих пор я говорил о деле; теперь начинается письмо...» (с. 359), «Теперь, поговоривши, давай болтать»,⁷⁷ «Видишь, как я с тобою заболтался»,⁷⁸ — заключает Баратынский в одном случае, а в другом: «Это письмо совершенно деловое».⁷⁹ Предпочитаемое ими «сугубо» дружеское послание, основанное на принципе болтовни, давало неограниченные возможности для самовыражения, для свободного выбора «буффонадной», «ментально»- или «душеизлиянно»-исповедальной тональности, для экспериментов с содержанием и формой текста.

Эти эксперименты велись ими не только в семанте, традиционно отличавшейся предельной свободой построения за счет предельной вариативности содержания, но и в наиболее регламентированных эпистолярным этикетом частях письма — прескрипте и клаузуле. Они оформляются Киреевским и его друзьями по-разному, во множестве вариантов: от близких к классическим «Здорово, милый Соболевский, здорово!» (с. 223), «Здравствуй, брат Языков, да здравствуешь» (с. 356) (в прескрипте), «Прощай, будь здоров, будь весел, — не забывай твоего / Киреевского» (с. 211) (в клаузуле) — до замены клаузулы чем-то вроде постскриптума, состоящего из шуточного стихотворного экспромта с припиской «Каково?» (там же) или «Окончи сам» (там же). Чаще же всего клаузула и особенно прескрипт опущены, что демонстрирует совершенноную нецеремонность между друзьями, как это было и в переписке пушкинского круга.

Эпистолярное общение молодых друзей продолжалось в таком духе до 1834 года, когда Киреевский вступил в брак с Н. П. Арбеновой и всецело ушел в семейную жизнь. Отныне он пишет друзьям очень редко, кратко, по делу, признается Языкову, что у женатого человека нет времени («...ничего не делать перемешано с минутными, расплывчатыми заботами, и так уходит день за другим» — с. 387). Сокращая письмо, Киреевский, как правило, предельно сжимает даже и клаузулу — до «Твой И. К.» (с. 367, 389 и др.). Тем примечательнее, что при этом он не может отказать себе в удовольствии упомянуть любимую супругу: «Жена моя тебе кланяется» (с. 367), «Поклонись от нас твоей милой матушке, которую мы оба от всей души любим и уважаем» (с. 369). Это супружеское «мы» вытеснило прежнее холостяцкое «я», а вместе с тем вытеснило и Киреевского из дружеского круга. С его уходом в свою молодую семью из дружеского «семейства» это «семейство» распадается (хотя отдельные его представители пронесут дружбу через всю жизнь — скажем, Соболевский и Одоевский или Одоевский и Баратынский, сам Киреевский и Кошелев, Киреевский и Веневитинов), расстраивается и переписка, утрачивая как многомерность, так и монолитность.

Эпистолярное общение молодого Киреевского и его друзей составляет органичную, очень значимую и, к сожалению, по сей день совершенно не изученную часть дружеской эпистографии пушкинской эпохи, добавляющую яркие штрихи к ее портрету. В то же время она достаточно независима от пушкинской, представляет собой

⁷⁷ Письма С. А. Соболевского. С. 586 (письмо С. А. Соболевского к И. В. Киреевскому от 23 февраля (7 марта)).

⁷⁸ *Киреевский И. В., Киреевский П. В.* Полн. собр. соч. Т. 4. С. 167 (письмо Е. А. Баратынского к И. В. Киреевскому от 21 сентября 1831 года).

⁷⁹ Там же. С. 174 (письмо Е. А. Баратынского к И. В. Киреевскому от декабря 1831 года).

своего рода альтернативу ей и намечает новые пути развития эпистолярного жанра. Думается, наиболее значимы два из них. Во-первых, это перспектива лично ориентированного эпистолярного общения, центрируемого не столько на авторе письма и его литературных задачах, сколько на личностях и потребностях обоих коммуникантов, и, следовательно, общения очень гибкого, вариативного, разнообразного, глубоко индивидуализированного в каждом случае. Во-вторых, дружеская переписка Киреевского открывает перспективу сочетания «буффонадности» и исповедальности. Через это она поднимает вопрос о формировании качественно новой — не сентименталистской — исповедальности. Продолжать разработку означенных перспектив предстояло последующим поколениям эпистографов, а вместе с ними Киреевскому и его друзьям. Новый виток их переписки придется уже на зрелый — славянофильский — период его деятельности.

DOI: 10.31860/0131-6095-2023-1-134-140

© А. В. Курочкин

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПУШКИНСКОГО НАБРОСКА «ВЕЗУВИЙ ЗЕВ ОТКРЫЛ...»

Принято считать, что набросок «Везувий зев открыл...» создавался А. С. Пушкиным под непосредственным впечатлением от привезенной из Европы картины К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» в августе–сентябре 1834 года.¹ Заказчиком полотна выступил член Общества поощрения художников и известный меценат А. Н. Демидов, будущий князь Сан-Донатто. Во время работы над грандиозной картиной гибели античного города в 79 году н. э. художник пользовался письмами Плиния Младшего к Тациту. Трехтомное издание писем Плиния имелось и в библиотеке поэта.² После завершения работы Брюллова над полотном в 1833 году оно было представлено сначала в его мастерской в Риме, потом на Миланской художественной выставке. Итальянские зрители были в восторге. Между тем французская художественная критика приняла «Последний день Помпеи» достаточно прохладно во время его последующей демонстрации на Салоне в Париже, что не помешало картине получить золотую медаль. По окончании выставки Демидов распорядился доставить полотно в Россию. С середины августа 1834 года картина Брюллова находилась в Эрмитаже, а в конце сентября была выставлена на всеобщее обозрение в Академии художеств.

Сохранились два черновых автографа наброска пушкинского стихотворения,³ на одном из которых, под текстом, поэт белым росчерком пера изобразил фигуры представленных на полотне двух сыновей, несущих немощного отца. Академическое Полное собрание сочинений Пушкина представляет набросок в следующем виде:

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый [страхом],

¹ Основные сведения, касающиеся изучения стихотворения и его датировки, см.: Кардаш Е. В. «Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя...» (1834) // Пушкинская энциклопедия: Произведения. СПб., 2009. Вып. 1. А–Д. С. 251–254.

² *Lettres de Pline le Jeune / traduites par De Sagy; nouvelle édition, revue et corrigée par Jules Pierrot.* Paris, 1826–1829 (*Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое описание. СПб., 1910. С. 163. № 627).

³ ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1. № 845. Л. 21, 20 об.